

Не прислоняться!

16+

Анна Бабина

Не
причеловечиваться!

сборник малой прозы



Анна Бабина
Не причеловечиваться!
Сборник рассказов

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=58991514
SelfPub; 2020*

Аннотация

Не причеловечиваться! Причеловечиваться... интересное словцо. При-ближаться, при-липать, при-кипать... чем ближе причеловечился, тем сложнее потом расходиться. Привязанность натягивается, как телефонный провод, и в какой-то момент звонко лопается в морозной тишине. И – пустота. Открытый космос. "Не причеловечиваться!" – это сборник рассказов о детстве, любви и взрослении. Сколько длится первая любовь? О чём можно рассказать соседке в самолёте? Следит ли за вами с радуги ваша собака? Какую тайну скрывает твоя сестра? Фото на обложке автора.

Содержание

Островитянка	4
Синяя папка	27
199106	49
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Островитянка

Васильевский остров. Как можно не любить эту плывущую из Финского залива в Ладожское озеро рыбину, покрытую чешуёй ржавых крыш? В детстве у меня была книжка «Конёк-горбунок» с Рыбой-китом на обложке. Рыба-кит была по воде огромным хвостом, а на изогнутой спине теснились дома. Я представляла Остров в виде такой же рыбины, готовой в любой момент сбросить нас в солёную пучину залива.

Наше окно тарашилось в угрюмую жёлтую стену, скупо подсвеченную холодным петербургским солнцем; на потолке среди рыжих следов весенних протечек выступал перечёркнутый трещиной венчик лепнины. Между разошедшимися рамами по осени засовывали бумажную трубку, набитую ватой. Трубка не пускала в комнату сквозняк, норотивший уложить меня в постель на неделю-две. Однажды вместе с трубкой папа пристроил между рамами рябиновые гроздья. В пасмурные дни они, казалось, излучали тёплый свет. Глупые голуби долбили клювами стекло, пытаясь достать ягоды. Маме это не нравилось: птица, стучащая в окно, по её мнению, предвещала беду. Папа только посмеивался.

Дурных знаков становилось все больше. По ночам родители, думая, что я сплю, переругивались свистящим шёпо-

том. От папы часто пахло смесью яблока с чесноком – ёмкое слово «перегар» я узнала гораздо позже. Иногда он страшно кричал во сне, но я могла различить только слово «коробочка». В папиных кошмарах «коробочки» с ребятами горели на тесных улицах далёкого Грозного – и об этом я тоже узнала через много лет.

Мамино лицо по утрам бывало рыхлым и розовым, она шмыгала носом и вертелась перед зеркалом дольше обычного.

Мне исполнилось шесть, когда мы с мамой уехали – недалеко, всего-то минут сорок на метро, – но всё изменилось, и жизнь как будто запустилась заново.

Иногда мне казалось, что Остров, как и сказочная Рыба-кит, был сказкой. Я открывала глаза и вместо сероватой лепнины видела стыки бетонных плит. За окном грохотали зелёные электрички и цепочки цистерн, похожих на пальчиковые батарейки. Тесная и узкая лестница тащила в угрюмый двор, окружённый одинаковыми угловатыми домами.

Папа исчез из моей жизни, как будто его никогда не было, зато появилась бабушка – строгая, аккуратная, с серебряными часиками на сухом запястье. Глядя на неё, я никак не могла поверить, что она – мама моей мамы. Не обладая маминым громким голосом и размашистыми жестами, она удивительным образом заставляла людей слушать и слушаться.

Мама постоянно опаздывала, суетилась, путалась в потоках цифр, которые изливала на нас Рыночная экономика

– странное существо, о котором только и разговоров было в то время. Несколько лет она работала в каком-то НИИ, где вместо денег давали стиральный порошок и технический спирт, потом перебивалась случайными заработками. Бабушка сориентировалась быстрее: шила на дому, караулила чьи-то дачи, сводила концы с концами и нужных людей между собой, и в итоге постоянно оказывалась в выигрыше. Во всём этом мельтешении она умудрялась находить время для меня: по выходным в любую погоду мы выбирались «в город» – так бабушка называла центр. На Остров забредали изредка и ненадолго, теперь уже не домой, а в гости.

– Смотри, господин Василий и госпожа Василиса тебя встречают, – говорила бабушка, указывая на Ростральные колонны.

Над фронтоном Биржи Посейдон приветливо вскидывал трезубец, напоминая, что надо тренироваться читать бегло и слушаться маму.

Я любила учиться, но школу полюбить так и не смогла. Просыпаться по утрам было для меня сущей пыткой, особенно зимой. Вываливаясь из тёплой постели, я едва передвигала ноги, и бабушке приходилось тащить меня за руку. На остановке толпились люди – сами по себе они были самыми обыкновенными, не злыми и не добрыми, но по утрам, спаянные в единую бормочущую под нос проклятия массу, превращались в диких зверей.

Подходил жёлтый автобус, похожий на жука, и бабушка ловко пропихивала меня внутрь, как чемодан. Целых две остановки мы ехали в тесноте, дышащей перегаром и ненавистью. Возле метро многие, сопя и чертыхаясь, соскакивали в подтаявший снег, а мы тряслись дальше, до школы. У этих автобусов (сейчас их и не сыщешь, наверное, разве что в какой-нибудь глубинке) был особый звук, не похожий на привычное тархтение движка. Они звенели – тоненько и пронзительно, как будто в бензиновом подполье кто-то мерно постукивал чайной ложкой о край стакана. Зимой самым лучшим местом в таком автобусе становилось сиденье над двигателем, справа за кабиной. Можно было воображать себя Емелей, лихо мчащимся на теплой русской печке к исполнению извечной русской мечты о блаженном ничегонеделании и безбедном существовании.

В школе тоже пришлось несладко: мы занимались на первом этаже в просторном кабинете с огромными окнами, который зимой превращался в морозильник. В коридорах талая вода застывала, как на улице. Классы обогревались трамвайными печками. Однажды в лютый мороз нас пришло всего пятеро, учительница посоветовала не раздеваться, и мы, укутанные, корпели над прописями, как наши блокадные предки.

Но дело было даже не в этом проклятушем холоде. В этой школе я пришлась не ко двору. Украдкой дыша на замёрзшие пальцы, я вспоминала огромную гимназию на Острове.

Однажды папа взял меня с собой на выборы и, поднимаясь по широкой лестнице, пообещал:

– И тебя сюда запишем. Я здесь учился.

Я смотрела во все глаза на паркет, блестящий, как жжёный сахар, совсем не такой, как у нас дома; на чёрный лакированный рояль в холле, и где-то внутри меня дрожала радостная гордость. Я буду здесь учиться, непременно буду... Но папа предал нас, и вместо школы-дворца я попала в школу-зверинец.

В детский сад я не ходила, поэтому вся казенщина пришла мне в новинку: и холодная каша, которую одноклассники бойко глотали на большой перемене, и чай, пахнущий прабабушкиным сенным матрасом, и учительница, ни с того ни с сего принимавшаяся кричать, и одноклассники – о, с ними было тяжелее всего!

Класс выбирает жертву: сделать это несложно, достаточно как следует приглядеться. У потенциального изгоя должна быть характерная черта: свиный наклон головы, выпирающие лопатки, оттопыренные уши, робкая улыбка, тихий голос... Я носила очки – единственная во всем классе; вместо сока или молока в коробочке мама засовывала в мой ранец, скорее практичный, чем красивый, бутылку с горячим чаем, оборачивая газетой, чтоб не остыла; для занятий физкультурой мне купили старушечьи синие кеды. Но сигналом «ату её» послужили, конечно, слова учительницы. Она невзлюбила меня с первого урока. Сейчас кажется забавным, насколько

ко скрупулёзно солидная пожилая женщина следила за движениями и словами маленькой девочки, с нетерпением ожидая промаха, но тогда грозные окрики и язвительные замечания приводили меня в отчаяние.

День, когда я впервые стала посмешищем для класса, запомнился на всю оставшуюся жизнь. Одна девчонка поспорила со мной, что краска называется медовой, потому что пахнет мёдом. Я лишь недавно узнала, что в состав акварели действительно входит мёд. Перед началом урока я достала коробку с красками и поднесла к носу, чтобы понюхать. За этим занятием учительница застала меня и, нарочно дождавшись, пока класс притихнет, проскрипела:

– Панова! Прекрати лизать краски! Тебе что, есть дома не дают?

Класс грохнул от смеха. И понеслось...

На перемене я прыгала с девчонками через резиночку, и та же учительница мимоходом заметила:

– Панова, прыгаешь, как слониха. Не провались в подвал, – И меня перестали брать в игру.

В пятом классе жизнь немного изменилась – я избавилась от ненавистой учительницы, но одноклассники по-прежнему меня не принимали. Я плохо бегала и прыгала, ещё хуже лазала по канату, и на эстафетах никто не хотел брать меня в команду. Однажды на уроке литературы бутылка с чаем в рюкзаке открылась, и желтая лужа под моим стулом доставила зубоскалам огромное удовольствие. В другой раз я за-

путалась в ремне наплечной сумки и рухнула посреди класса – от дружного хохота задрожали стёкла.

Мама и бабушка считали, что школа учит борьбе за выживание в будущей взрослой жизни. Наверное, жвачка в волосах и баскетбольный мяч, пущенный в лицо чьей-то меткой рукой – не худшие из зол, но в те минуты горечь переполняла меня и гнала по длинным коридорам в женский туалет, оставляя едкие следы на щеках.

К старшей школе ненависть поутихла, и презрение приобрело более цивилизованные формы. Никто не бросал пластилин в кружку с чаем, не ставил подножек, не швырял в спину тряпкой, пропитанной меловой пылью. Со мной разговаривали сухо и деловито: списать, посмотреть, поделиться учебником... За партой я сидела в одиночестве, обедала и шла домой одна.

После осенних каникул в десятом классе ряды моих молчаливых противников должны были пополниться ещё одним человеком. У нас появился Новенький.

Перед началом урока в класс втиснулась завуч – обтянутая лиловым трикотажем великанша с громовым голосом. Её мучила зубная боль, поэтому, шепеляво отрекомендовав нам нового одноклассника, она исчезла.

Новенький не сел на единственное свободное место рядом со мной, а остался стоять возле доски. Молчал он, молчали мы. За дверью плескалась перемена.

– Ну привет, – с вызовом сказал Митяев, главный хулиган

и сердце всея школы.

– Привет, – спокойно ответил Новенький.

Его изжелта-бледное лицо ничего не выражало.

– Садись, что ли, – крикнул кто-то, – другого места всё равно нет.

Смешок прокатился по классу. Новенький посмотрел на меня и сел рядом. Он отличался вызывающей некрасотой: с пергаментного лица смотрели по-гумбертовски маслянистые глаза, старушечьи губы поджимались, стоило ему задуматься.

– Ты что же, изгой? – спросил он тихо.

Я промолчала.

Из всех человеческих возрастов наиболее эгоистичны юность и старость. Юность спешит почувствовать, попробовать, узнать; старость заботится о себе, бережёт растраченное, ловит упущенное.

Я приходила из школы, машинально глотала суп и компот, садилась за уроки. Что я любила, так это учиться, хотя сейчас я думаю, что в действительности мне нравилось чувство превосходства над *ними*. Вечером я брала книгу и забивалась с ней в угол дивана. Приходила с работы мама, я нехотя выползала в коридор, улыбалась, что-то спрашивала и отвечала. Бабушка возвращалась домой позже всех, бесильно опускалась в коридоре на скамеечку и стаскивала с опухших ног сапоги.

Я должна была заметить, что с мамой что-то не так.

– Привет, – Новенький опустился на скамейку рядом со мной. – Ты обедала?

– Не успела, – призналась я. – Физичка отпустила нас на пять минут позже, а тут такая очередь. Я не стала стоять. Ничего, не пропаду.

– Будешь коржик? – и он протянул мне песочную лепешку в целлофане.

Так подманивают на улице бездомную собачку. Она идёт не потому, что ей хочется есть или согреться, она мечтает, чтобы с ней заговорили, и случайный прохожий оказался будущим хозяином. Я взяла коржик.

– Привет, мам, – я привычно улыбнулась гуттаперчевой улыбкой.

Мама стояла на коврике возле двери. С мокрого зонтика капало на линолеум. Мамино лицо было бледнее обычного, губы шевелились, словно она читала молитву.

– Мам? – я испугалась не на шутку.

– Я видела, как её убили, – прошелестела мама.

– Кого?!

– Лену Никишину, мою бывшую одноклассницу.

– Где? Когда?!

– Только что, возле соседнего дома. Она шла по тропинке, знаешь, где фонарь никогда не горит, а он вдруг как вы-

прыгнет из темноты! и ударил её ножом... Столько крови!

– Ты вызвала «скорую»? Полицию?

– Нет, ты что! Они и так меня видели! Боже мой, что теперь будет! – и мама сползла по стене.

– Мама, прекрати! Откуда им знать, кто ты такая? Они же не пытались тебя убить, не гнались за тобой? Я позвоню по ноль-два...

– Не смей! – мама выхватила у меня трубку. – Только бы они не схватили бабушку...

Я должна была понять, подсказать, заметить, поговорить с бабушкой, наконец. Но я объяснила всё мамиными расстроенными нервами. Через полчаса мама пришла в себя и взяла с меня торжественную клятву ни о чем не рассказывать бабушке. И я не рассказала...

Засыпая, я думала о Новеньком, а не о маме.

– Тебе куда? – спросил Новенький, когда я собрала учебники. – Давай провожу.

Я не умела кокетливо улыбаться, поэтому просто растянула губы. Это оказалось на удивление легко, куда легче, чем через силу скалить зубы дома.

– Пойдём.

Когда мы разошлись, уже давно стемнело. Я лениво подумала, что мама, должно быть, станет волноваться, если меня не окажется дома, но эту мысль тотчас оттеснили другие. На меня обратили внимание. Меня провожают домой. Я, воз-

можно, кому-то понравилась.

Я открыла дверь и шагнула в темную прихожую. Выдохнула: видимо, ни мамы, ни бабушки ещё нет дома. Я протянула руку к выключателю. Вспыхнул свет. Мама сидела на полу, глядя прямо перед собой.

– Мама?!

**– Они следят за мной, – просипела мама. – Высле-
дили-таки. Теперь всё...**

– Кто они, мама? – от ужаса я сорвалась на визг.

– Те, кто убили Никишину. Только не говори бабушке. Ради всего святого. Не стоит ее пугать.

**– Ты была зимой в Ораниенбауме? – спросил Но-
венький, когда учительница биологии отвернулась к
доске, чтобы начертить очередную таблицу.**

– Нет, – я затаила дыхание.

– А хочешь?

**«Никогда не соглашайся с первого раза. Парни это-
го не любят, их надо немного помучить», – вспомнила
я житейскую мудрость, подслушанную в женском туа-
лете. Вспомнила и ответила:**

– Конечно!

Разумеется, ни маме, ни бабушке я про Ораниенбаум не сказала. «Завтра шесть уроков и классный час», – соврала, не моргнув. Всех это устроило.

В девять утра мы уже мчались в замёрзшей электричке, а в одиннадцать – кидались снежками на пустых аллеях. Синицы клевали хлебные крошки с моей варезки. Высоко в небе висело ртутное зимнее солнце. Я чувствовала себя счастливой.

Я открыла дверь и сразу поняла: что-то не так. В квартире было холодно, пахло табаком и лекарствами. Я разулась и прошла на кухню. Бабушка, в вишнёвом пальто и кокетливой круглой шляпке, стояла у открытого окна и курила. Такого с ней давно не случилось. Меня обдало паникой: видимо, бабушке уже сообщили...

– Я звонила в школу, тебя не было, – чересчур спокойно, даже лениво протянула бабушка.

– Я... мы... – залепетала я.

– Хорошо, что с тобой всё в порядке. Маму забрали в больницу, нужно будет завтра отвезти ей вещи.

– Что случилось?

Я вообразила, что мама узнала о моем прогуле и решила, что меня убили. Потом ей стало плохо с сердцем, и её увезла «скорая». Или история с Никишиной была правдой, и на маму совершено покушение?

– Мама... маме... – бабушка запнулась.

Она обернулась ко мне, и я заметила, как страшно, иссиня-фарфорово она бледна. Тени со всего лица собрались к глазам.

– У мамы проблемы... Мама... Кажется, она... Мама сошла с ума.

Бабушка поднесла к губам пальцы, как будто хотела их поцеловать. Рукав пальто был испачкан побелкой, и я отряхнула его. Бабушка поблагодарила.

– Я не знаю, что делать.

Это сказала бабушка? Я не ослышалась?

– Врачи ничего не говорят.

Она стащила с головы шляпку и бросила её на стол.

Словно и не больница вовсе: красивые современные корпуса – ажур, дерево и снег, мягко укрывающий двускатные крыши. Бабушка шагала впереди. Впервые я видела её такой: седые волосы выбились из-под шляпки, пальто расстегнуто.

Мы заплутали в больничном лабиринте. Скорбная фигура – сухие воспалённые глаза, взъерошенные волосы и термос в бумажном пакете – подсказала дорогу.

Кирпичный флигель зарылся в снег подальше от людских глаз. Над окнами нависали огромные сосульки, блестящие, как бабушкин хрусталь. Внутри, в царстве казенной синей краски и дореволюционной метлахской плитки, пахло типичным пищеблоком – капустой и спитым чаем. У входа стояли длинные сани с бидонами, на которых краской были намалёваны непонятные буквы и цифры.

Меня затрясло. От синевы рябило в глазах.

Бабушка постучала в дверь. Открыли. Запах капусты уси-

лился. Полная женщина в застиранном белом халате перебросилась с бабушкой парой слов и впустила нас внутрь. Я сразу, будто тёплой водой окатили, вспотела. Бабушка разделась, стащила с меня куртку, сунула в руки тапочки. Из соседнего помещения выглянула женщина в розовом халате – красивая, с тонким профилем и густыми светлыми волосами. Пожевав губами, она посмотрела на бабушку, потом на меня и грустно улыбнулась.

Я ожидала всего, чего угодно – клеток, мягких стен, звероподобных буйных больных – но вместо этого мы прошли в обычную комнату с бежевыми стенами. На потрёпанном диване сидели мужчина и женщина. Он держал её за руку и рассказывал что-то, она кивала головой. Девушка чуть постарше меня, не стесняясь посторонних, примеряла на голое тело кофточку, которую принесли родители. Они шутили почти непринужденно и весело – не хватало самой малости.

Я едва узнала маму в казенной куртке с эмблемой больницы на спине и леопардовом халате с чужого плеча. Она вымученно улыбнулась и села рядом с бабушкой.

Страшно боясь заплакать, я отодвинулась от них, но вместо слёз изнутри рвалась дрожь. Бабушка вполне владела собой. Она заправила выбившуюся прядь за ухо и спросила у мамы:

– Кушать хочешь? Я принесла фрукты и пирожки.

Мама посмотрела на нас, и две слезы страшно медленно выкатились из глаз.

– Не нужно плакать, – бабушка говорила с уверенностью диктора центрального канала. – Тебя немного подлечат, и всё будет хорошо. Ты просто устала. Кушай.

Мама послушно взяла пирожок и принялась вяло жевать.

– К доктору схожу, – бабушка оставила нас вдвоём.

Мы сидели молча. Я растерялась, маме было неуютно – она теребила распустившийся манжет халата. Вскоре бабушка вернулась:

– Доктор сказал, это всё ерунда. И недели не пройдёт, как тебя выпишут. Такое бывает у женщин твоего возраста...

Мама быстро утомилась и вернулась в палату. Мы молча оделись у дверей. Бабушка повязала на тонкой шее элегантный шарфик, поправила мне воротник. Медсестра движением фокусника достала из кармана халата дверную ручку и открыла нам.

Мы пробирались по сугробам к воротам больницы. Я обогнала бабушку и заглянула ей в лицо. По впалым морщинистым щекам текли слезы. На полпути они испарялись и поднимались к небу, как молитва.

Наступило странное безвременье: я вставала по утрам, шла в школу, сидела на уроках. Я отвечала, когда меня спрашивали, и отвечала хорошо, но все вокруг заметили произошедшие со мной перемены. Одноклассники оставили меня в покое, иногда я даже ловила на себе чей-то сочувственный взгляд. Они думали, что я влюбилась, и это было неправдой

лишь отчасти.

Горе, придавившее меня в день, когда я узнала о мамином сумасшествии, не смогло вытеснить странного чувства болезненной привязанности, которое я испытывала к Новенькому. Он заговаривал с кем-то помимо меня – я злилась, улыбался и шутил – выходила из себя. Однажды я надерзила учительнице физики, которую, в общем, любила, только за то, что она снизила ему оценку.

Сдавленная этими двумя жерновами, я забывала поесть, а вместо сна лежала с открытыми глазами, задавая пустоте один и тот же вопрос: если это темное, злое, отдающее болотиной, называлось любовью, то она пугала меня.

Новенький же, словно почуяв, что я увязла и запаниковала, перестал обращать на меня внимание. Я ревновала и ненавидела себя, потому что мне *нужно* было думать о страшной больнице, о запахе капусты, о дверях без ручек. Но я не хотела думать.

Я не поехала к маме один раз, сказавшись больной, в другой раз мне, якобы, нужно было готовиться к контрольной, а на третий бабушка даже не предложила. Чтобы заглушить чувство вины, я позвонила Новенькому, но его не оказалось дома.

Заплаканная бабушка приехала позже обычного. Маму собирались выписывать, но у неё снова случился приступ. Мы сидели на кухне по разные стороны стола и цедили горький чай.

На следующий день я проспала в школу: бабушка уехала на работу рано, и я, нажав на кнопку отбоя, уснула. Прибежала ко второму уроку в мятой блузке и без жакета. Раньше все бытовые мелочи контролировала бабушка, то есть они решались сами собой, а теперь заниматься всем этим приходилось мне. И я, конечно, не успевала.

Англичанка, хмуро оглядев меня, разрешила войти. Я сделала задание, но, когда меня вызвали, сбилась и получила тройку, правда, «карандашную».

– Что с тобой происходит? – спросил меня Новенький, когда на перемене мы уселись в дальнем углу столовой.

Хотела соврать, придумать правдоподобное объяснение своим опозданиям и рассеянности, но вместо этого зачем-то рассказала ему все – и про маму, и про больницу, и про себя. Умолчала только о болотине.

К марту маме стало лучше. Она сильно располнела от таблеток, но страхи и навязчивые идеи исчезли. Мама улыбалась, с аппетитом ела пирожки и с иронией рассказывала о больничном житье-бытье.

Стоило одному жернову ослабить давление, как меня прижало другим: Новенький неожиданно совершенно переменил отношение ко мне. Он постоянно раздражался, срывал на мне злобу, а однажды после совершенно пустякового конфликта пересел к Лизе Кулинич – её соседка Оля Нерсесян

сломила ногу и временно училась дома. Я снова осталась одна.

Правда, через неделю Новенький пришёл мириться с улыбкой и конфетами из ближайшего супермаркета. Новогодняя коробка была наспех заклеена отпечатанной на цветном принтере картинкой с букетом тюльпанов. Мне хотелось думать, что перемирие не связано с контрольной по английскому, но всё было слишком очевидно. Я оттолкнула коробку и она, скользя по крышке парты, упала прямо ему в руки. После урока Новенький угощал конфетами Кулинич.

Это случилось в среду на биологии. Учительница рассказывала про наследственность, и речь зашла о заболеваниях, которые передаются детям от родителей. Класс, страдая от духоты, слушал вполуха, пуская зайчиков часами и зеркалами. Открыли форточку. Школьный двор, как рупор, усиливал журчание талой воды, уходящей в канализационный люк.

– Мария Евгеньевна, – вдруг приподнялся Новенький, и Кулинич как-то неприятно подхихикнула, – а правда, что сумасшествие передаётся по наследству?

Мне стало неудобно.

– Да, есть психические расстройства, которые могут передаваться из поколения в поколение, – начала биологичка, но он не дал ей закончить.

– Всё тогда понятно с нашей Птичницей-отлични-

цей, это она в свою мамочку чокнутая.

Класс замер. Солнечные зайчики запрыгали со стен под парты. Я вскочила.

– Что? – переспросила биологичка.

Это в книгах легко – ударишь по лицу, и оно застынет в ладони, как птица. В реальности всё по-другому. В абсолютной тишине я вышла из класса; никто не попытался меня остановить.

Предательница! Я предала маму, рассказав о её беде первой попавшейся скотине.

Я, без куртки и в замшевых туфлях, шагала через детскую площадку, залитую талой водой. «Цой жив!» – крикнул мне в лицо ржавый гараж. Я обогнула его и юркнула через дыру во двор детского сада.

Я не чувствовала холода и воды в туфлях – вообще ничего, кроме огромного, ширящегося внутри кома отчаяния. Я забралась в деревянный домик на детской площадке. «Господи, за что?» Холодное небо, видневшееся через выломанную доску крыши, промолчало.

Бабушки не было дома. Согреваясь под душем, я думала о том, что скажу ей по поводу куртки и рюкзака. Часов в пять в дверь позвонили, и я поплелась открывать. За дверью оказался мой рюкзак, рядом – куртка и пакет с ботинками. Мне было всё равно, кто принёс эти вещи.

Я прошла в комнату, легла на кровать и выключила свет.

Ни в четверг, ни в пятницу в школе я не была. Вставала рано, собиралась под гнётом тяжёлого бабушкиного взгляда, выходила на улицу и шла наугад. Чужие окна подслеповато глядели мне вслед.

Наверное, думала я, останься мы на Острове, все сложилось бы иначе. И мама была бы здорова, и я не совершила бы этот непростительно мерзкий поступок.

В субботу созрело решение. Я вышла из дома, коснувшись сухими губами бабушкиного виска. Серые пряди пахли духами «Пани Валевска».

Панельные дома пропустили меня сквозь строй, но я осталась жива.

Спускаясь в метро, я думала о том, что наклонный ход похож изнутри на пищеводные кольца – такой рисунок был в учебнике по анатомии.

Я ехала домой.

Васильевский встретил меня запахом талой воды. Я и забыла, каким Остров бывает по весне. Лиственницы осыпались не полностью, и хвоя висела на бородавчатых ветвях неопрятными колтунами.

Я легко нашла двор, в котором не бывала десять лет. Остался бетонный круг – не то песочница, не то клумба – и желтые стены в потеках и проплешинах, даже треснутое стекло на третьем этаже не заменили. Удивительно, сколько всего я помнила.

Не зная, жив папа или нет, я уселась на скамейку ждать. Он мог переехать, попасть в тюрьму, измениться до неузнаваемости... Но я почему-то была уверена, что встречу его – и встретила.

Сначала из парадной выскочила крошечная девчушка, вся в розовом, и запрыгала к детской площадке, как резиновый мячик. Потом вышел папа. Вместо линялой куртки со шнурком на талии – в моём детстве все папы такие носили – он был одет в стильную кожанку. Седины прибавилось, и стригся он теперь иначе.

– Алина, аккуратно! – крикнул папа девочке, и я вздрогнула. – Добрый день, – он поздоровался со мной и сел на скамейку.

Он не узнал меня. Разумеется, не узнал. Я нашла в себе силы пожелать ему доброго дня в ответ.

Девочка полезла на лесенку, и он вскочил, чтобы подстраховать её. Я сидела ни жива ни мертва, чувствуя, как пот стекает по спине. Что я могу сказать ему: «Привет, папа, я – твоя дочь?»

Алина мирно черпала ведёрком воду из лужи. Папа снова сел рядом и расстегнул куртку – показался пушистый белый свитер, совсем не такой, как тот, на который мама когда-то пришивала кожаные заплатки.

– Глаз да глаз за ней, – и он посмотрел на свою Алину с обожанием.

Так мы сидели несколько минут в тишине. Наверное, я ка-

залась ему подозрительной: торчу одна на скамейке без наушников, телефона или книги, смотрю на него и на маленькую девочку...

Алина отбросила ведёрко и побежала к папе, но запнулась за бетонный бордюр и упала. Она расплакалась, некрасиво кривя розовый ротик, и папа метнулся на помощь.

Он поднял её, отряхнул комбинезончик и, встав на одно колено – прямо в лужу! – посадил на другое Алину.

– Ну-ну, – нараспев зашептал он, – не плачь, Алинёнок, не плачь. В жизни всякое случается...

Я судорожно вздохнула – кажется, даже папа услышал, поднял голову и вспомнил, что на площадке они не одни.

– Это не беда, всё пройдёт. Подую – и пройдёт, правда? Это, доченька, такая ерунда по сравнению с мировой революцией... у нашего дедушки такая поговорка была. Царь Соломон – жил такой в древности – говорил, что всё пройдёт...

Я сорвалась с места, не дослушав. Мутные василеостровские окна осуждающе глядели на меня, талая вода и ошмётки снега разлетались из-под каблучков. Я не плакала – выла. Люди оглядывались мне вслед: вот она, чокнутая, дочь чокнутой.

Я перебежала проезжую часть в потоке машин, и они подняли пронзительный вой. «Вот дура, жить надоело», – припечатал какой-то мужик, и я рассмеялась ему в лицо – чокнутая же.

«Всё пройдёт, доченька...» Выскочила на набережную –

как из воды вынырнула. Нева уже вскрылась, и по её шёлковой черноте в Балтику лениво тянулись грязные льдины. Ветер дергал меня за волосы и толкал в спину.

«Всё пройдёт, папа». Это мог быть и не он – ведь я не видела его столько лет... «У царя Соломона, – повторяла я самой себе, – было кольцо с надписью «Всё пройдёт». Интересно, он думал о том, что всё пройдёт, когда на улицах Грозного пылали «коробочки»?

Я всегда оправдывала его, ведь это мама запрещала ему приезжать и видеться со мной, но это я так считала, а он мог думать по-другому, мог просто забыть обо мне... Почему у него нашлись слова утешения для Алинёнка, а для меня – нет?

Морские коньки на решётке разевали рты в безмолвном крике. У меня закончилось дыхание, и я остановилась, вцепившись в перила, посреди Благовещенского моста (бабушка по привычке называла его Мостом лейтенанта Шмидта). Краны в порту молитвенно воздевали суставчатые руки. Ростральные колонны поддерживали грузную серость, в которой плыл глобус Кунсткамеры.

... В конце концов, даже если у меня отнимут всё, чем я дорожу, останутся этот Остров и набрякшее от оттепели небо над ним.

Синяя папка

«Жалюзи пропускали рассеянный дневной свет, создавая в коридоре больницы приятный полумрак», – эта фраза пришла Инне в голову совершенно неожиданно. Наверное, мозг учительницы литературы включил защитную функцию, чтобы не думать о том, что происходит на самом деле.

Слово «приятный» вряд ли подходило этому месту. Выхолощенный кондиционером воздух, желтые стены и, в качестве компенсации, больше похожей на насмешку, за весь этот казенный неуют, – пара плохоньких репродукций Левитана.

«Над вечным покоем», – вспомнила Инна название одной из картин. Вечный покой... Вечный. Господи, как же страшно звучит.

Она встала, пробуя ноги на прочность, и сделала несколько неуверенных шагов в сторону поста медсестры. Желтые стены плясали перед глазами. Не упасть бы. Детей напугает...

Она обернулась к ним, словно ища поддержки. Лёлька, младшая, сидела спокойно, только руки беспрестанно двигались: она стаскивала обручальное кольцо и надевала его обратно на палец. Глаза дочери казались узкими от непролитых слёз. Егор ёрзал, как в детстве, пытаясь справиться с

волнением.

Инна вспомнила день, когда рассказала Андрею о том, что у них будет ребёнок. Стоял душный вечер, в окно, распахнутое во двор-колодец, влетал чей-то приглушённый смех. Андрей некоторое время смотрел на неё, как будто не понимая, а потом вдруг встал, подошёл к окну и прокричал в молочные сумерки, пахнувшие сиренью: «У меня будет сын!» В ответ со двора донеслись пьяные поздравления. Это было так непохоже на ее сдержанного и стеснительного Андрея...

– Мы же не знаем ещё, сын или нет, – смущенно бормотала Инна, пока он покрывал поцелуями её раскрасневшиеся щеки и плечи.

– Я знаю, – просто ответил он. И не ошибся.

«Надо напомнить Андрею об этом», – подумала она, и тут же сморщилась от внезапной боли. Андрею больше ничего нельзя напомнить...

Ещё пара шагов. Медсестра поднялась навстречу:

– Вам нехорошо?

У неё было приветливое молодое лицо, ещё не подёрнутое равнодушием.

– Нет-нет, все в порядке...

Какое, к черту, в порядке? Вся жизнь разлетелась на куски. «Пошлая метафора», – машинально отметила она.

– Скажите, – выдавила Инна, – а что нам делать

дальше?

– Тело передадут на вскрытие, – отводя глаза, отчеканила сестра, – а вы можете спокойно ехать домой...

Медсестре стало неловко за неуместное слово «спокойно», но Инну это нисколько не задело. Её небольшое теперь могло задеть. Она отступила назад, к детям.

– Я вызову такси, – сказал Егор и взял мать за руку.

Её холодная ладонь целиком поместилась в его крупной и влажной пятерне. Когда-то было наоборот...

Инна машинально переделалась в домашний костюм (терпеть не могла халаты) и прошла на кухню. За окнами по-осеннему стремительно темнело. Она загремела посудой. «Надо приготовить что-то простое, чтобы дети хоть немного порадовались. Макароны с сыром? Они так их любили! Сварить макароны...» Она распечатала пачку, стала неловко вытряхивать содержимое в кастрюлю, и осознала, что сначала нужно вскипятить воду. Как будто разом разучилась готовить, соображать и жить. Опять пошлый оборот...

Инна высыпала макароны на стол и подошла к мойке, чтобы наполнить кастрюлю водой. В раковине стояла кружка Андрея – утром он опаздывал и не успел её вымыть. В восемь часов Андрей, как обычно, выпил кофе с бутербродом, в половине девятого осторожно, чтобы не разбудить жену, вышел за дверь, а в девять его «ласточка» превратилась в грудку искореженного металла на кольцевой. Андрей Петро-

вич Герасимов умер в реанимации пять часов спустя. Вот так оно и бывает, оказывается. Утром жена, а вечером – вдова. Инна взяла в руки кружку. Она показалась тёплой, как будто муж только что выпустил её из рук. Наверное, её ладони были слишком **холодными**.

– **Мам, давай я приготовлю ужин, – Егор вошёл неслышно, но она даже не вздрогнула.**

– **Нет, Егорушка, спасибо. Отдохните с Лёлькой. Завтра будет тяжелый день.**

– **Мам, я вот что подумал... Надо, наверное, свидетельство о смерти баб-Кати найти и папину метрику... Для кладбища.**

Она посмотрела на него с благодарностью. Хоть кто-то в семье не должен **терять голову**.

– **Да, посмотри в его столе, пожалуйста. Там много всего, и все перепутано... ты же знаешь папу...**

– **Я найду, – ответил Егор и поспешно вышел.**

Он прошёл в родительскую спальню, где в углу обломком советского кораблекрушения громоздился отцовский стол. Всё остальное в спальне – кровать, шкаф, люстра, кресло – было новенькое, купленное после ремонта, а этого деревянного монстра отец сохранил в память о своём отце.

Егор сел, включил настольную лампу и открыл верхний ящик: сплошные провода, батарейки, старые сотовые телефоны... Дёрнул ручку второго ящика и вспомнил, что отец

всегда закрывал его на замок. В седьмом классе первокурсница Марина занималась с Егором английским на дому. Папа как раз починил замочек на ящике и объяснил, что хранит в столе наличные.

– Ты что, не доверяешь Марине? – спросил Егор, внимательно следя за тем, как отец смазывает детали.

– Нет, почему же. Но зачем провоцировать? Что называется «во избежание».

Егору не понравилась тогда отцовская улыбка – виноватая и в то же время хитрая. Раньше он никогда не видел у него такой.

Встречаясь с Мариной в коридоре, папа расспрашивал об успехах сына и шутил, но, уходя из дома, не забывал повернуть ключ в замочке.

В комнату скользнула Лёлька: он уловил движение воздуха и запах лёгких цветочных духов. Она села рядом на краешек родительской кровати и, как в детстве, робко ткнулась лбом ему в плечо.

Егор любил сестру всегда, но так и не научился выразить то, что чувствовал. Лёлька, он знал, тоже любила его, но стеснялась любых проявлений нежности.

Егор положил ладонь на её растрепанные рыжеватые волосы. Вспомнилось, как в детстве мама отправила их гулять во двор, и, пока он болтал с приятелем, Лёлька упала с дерева и сломала руку. «Мама, Егор не виноват, он за мной следил, рука сама сломалась», – с порога начала сестра оправ-

дательную речь.

– Егор, почему это случилось с нами?

– Я не знаю, Лёль. Не знаю.

– Папа же лучший, лучший... Папа...

Она всхлипнула.

– Пашка-то когда придет? – Егор попытался отвлечь её от неприятных мыслей.

– Раньше завтрашнего вечера его не отпустят... у него доклад...

– У тебя есть я, мама и Пашка. Мы рядом, ты же знаешь.

Лёлька всегда была рядом – и когда покончил с собой Севка, его лучший друг, и когда Ира не дождалась его из армии.

Холодной августовской ночью он сидел на завалинке деревенского дома и курил. Тишина давила на уши. Над рекой поднимался призрачный туман. Родители давно спали, и он тихо выскользнул из дома, завернувшись в безразмерную дедову телогрейку. Скрипнуло крыльцо, мелькнула белая фигурка.

– Ты чего не спишь? – он обрадовался Лёльке, но виду не показал. – Не бегай раздетая – простудишься.

– Я мамину куртку взяла, – она помахала у него перед носом пропахшей дымом ветровкой. – А ты чего не спишь?

– Хреново мне, – честно признался Егор.

– Ты из-за Ирки?

– Из-за всего.

– Я понимаю.

– Севку жалко. Дурак он. Ну, проиграл деньги, мы бы ему помогли, собрали...

– Севку жалко, – согласилась Лелька. – А Ирку – ни-сколечко. Я знаю, что ты ее любил, но...

– Проехали, – он отвернулся.

– Это к лучшему, Егор. Только к лучшему. Всё будет хорошо.

– Дай заколку.

– Зачем?

– Ящик вскрою.

– Егор, может, не стоит? – Лёлька испуганно посмотрела на него.

– Почему?

– Нехорошо это... только папы не стало...

– Лёль, ну ты чего... нам надо найти документы – баб-Катино свидетельство о смерти и папино о рождении...

Она вынула из волос «невидимку» и протянула Егору. Рыжая прядь упала на лицо, прикрыв по-кошачьи раскосый глаз. В деревне Лёльку не любили. Бабки говорили, что она похожа на ведьму.

– Ты уверен, что ст о ит?

Он вставил заклепку в замок и с хрустом повернул против часовой стрелки. Ящик тяжело выкатился.

– Держи, – чтобы отвлечь Лёльку от тяжелых мыслей, он сунул ей в руки две верхние папки – синюю и красную, а сам принялся перебирать толстую стопку документов.

Письма, диплом, какая-то гербовая бумага... знакомый кривой отцовский почерк с наклоном влево... Лёлька тем временем раскрыла синюю папку.

– Смотри, вот какое-то свидетельство...– она осеклась и как-то странно вздохнула.

Егор поднял глаза. Сестра смотрела на документ остановившимся взглядом и часто-часто дышала. Истерика. Он уже видел такое однажды, когда на их глазах грузовик сбил собаку.

– Лёль?

Она не слышала. Губы у сестры прыгали, лицо белело в темноте, как гипсовая маска. Он вскочил, чтобы позвать маму, но Лёлька проворно схватила его за руку:

– Нет.

Она протягивала ему документ, держа его за уголок двумя пальцами. Егор взял бумагу. Свидетельство о рождении. Герасимов Владимир Андреевич. Год рождения – 1991, Лёлькин. Место рождения – Нижний Тагил. Отец – Герасимов Андрей Петрович. В графе «мать» – некая Еремеева Елиза-

вета Игоревна. Как в сериале на третьем канале...

Скрипнула дверь.

– Ребята, я макароны сварила... Егор? Ты что?

Первой мыслью было – спрятать этот страшный документ от матери, порвать, уничтожить... но она же все равно узнает. И тут Лёлька закричала – пронзительно и страшно, выкрикивая боль и обиду, которые переполнили её.

– Оля! – мама рванулась к ней.

– Мам, принеси воды, – коротко скомандовал Егор, лихорадочно соображая, куда запихнуть проклятое свидетельство.

– Как. Он. Мог?! – выдохнула Лёлька, и её вырвало прямо на пушистый бежевый ковёр.

– Он ездил туда в командировку, ты должен помнить...

Инна сидела напротив сына прямая и торжественная, как на панихиде.

– Он никогда не говорил тебе?

– Никогда.

– Ты понимаешь, что этот Владимир – тоже наследник?

– О господи... Наследство... я даже не думала. Мне казалось, что страшное произошло и закончилось – сегодня в три. Но нет... господи, тридцать семь лет вместе, и теперь такое... за что?

- Там есть телефон. Я позвоню ему.
- Егорушка, зачем? Может, не стоит?
- Он – его сын. Имеет право знать.
- Какая грязь!

Егор с грохотом отодвинул стул и подошёл к окну.

Шёл дождь. За взъерошенными кронами деревьев колебались размытые ореолы фонарей.

– Я ведь его любила, – тихо сказала Инна.

– Я знаю.

– Не сердись на него, Егорушка. Он уже искупил свои грехи.

– Он поступил отвратительно – и с тобой, и с нами.

– Не надо, Егор. Он нас слышит. Ещё сорок дней он здесь.

– Пусть слышит! – Егор топнул ногой, как в детстве.

– Он тоже нас любил, сынок. Люди ошибаются.

– Он не раскаивался, мама!

– Откуда ты знаешь?

– Он даже не думал рассказать нам...

– Думал, что я не прощу.

– А ты бы простила?

– Теперь думаю, что да.

Инна подошла к окну и встала рядом. Она едва доставала ему до плеча.

– Я позвоню ему завтра, мама, – сказал Егор и робко обнял мать.

Егор думал, что уснуть будет нелегко, но провалился в забытьё, едва голова коснулась подушки. Спал крепко, без сновидений, и открыл глаза в половине девятого. Мама с Лёлькой легли в родительской спальне, а он притулился на диване в гостиной, которая когда-то служила детской. На паркете оставался темный след – под новый 1996 год Севка уронил там бенгальский огонь. Севка... баб-Катя... теперь папа.

Он взял телефон и вышел на балкон. Бумажка с номером Владимира колола пальцы. Брат... чудны дела твои, Господи, как говорила баб-Катя. Всю жизнь мечтал о брате – и вот он, получи и распишись.

В трубке долго шли колючие гудки, потом что-то щелкнуло, засипело...

– Алло! Алло!

– Алло, – не сразу ответил Егор – странный сухой спазм сдавил горло. – Владимир, здравствуйте. Меня зовут Егор. Андрей Петрович, ваш отец, умер.

«Андрей Петрович, ваш отец». Как странно прозвучало. Ведь он, Андрей Петрович, их отец... Их обоих.

– Умер... отец... умер? – пролепетали на том конце.

– Да. Разбился на машине.

Зачем он это сказал? Может, положить трубку? Если бы вот так позвонили ему, что бы он сказал, сделал, подумал? Ему сообщила мама, и он сразу вцепился в её спасительное тепло, которое тянулось к нему

сквозь трубку, а если бы это был кто-то другой – чужой, холодный, официальный?

– Егор, – глухо отозвалась трубка, – вы ведь его сын, да? Простите меня, пожалуйста.

Прощения просит, лицемер! Егор сглотнул гневный комок:

– Да, я его сын.

– Сам бы прекрасно доехал, – Егор никак не мог избавиться от привкуса ярости во рту.

– Егорушка, пожалей его, ведь он тоже отца потерял...

Инна замолчала, боясь, что голос выдаст её. Она чувствовала то же, что и сын – горечь и гнев – и ничего больше, но считала, что должна переубедить Егора. В конце концов, им этот далекий Владимир зла не делал... Он же не просил мать рожать его от чужого мужа? Она невесело усмехнулась своим мыслям.

– Ну и где он? С Екатеринбурга давно все прошли.

– Из Екатеринбурга.

– Один хрен.

Он сказал грубость, зная, что мать терпеть не может таких слов, но Инна не услышала. Она увидела своего Андрюшу таким, каким он был до рождения Егора. Худенький, сутулый, взъерошенный, он неуверенно шагал через зал прилёта. Вздвогнув, Инна качнулась к Егору – сыну, который никогда

не был похож на отца так, как этот чужой мальчик.

– Владимир, – тихо сказала она.

– Где?

Егор смотрел и не видел. Владимир угадал их в толпе и несмело подошёл ближе.

– Здра-здравствуйте, – он немного заикался.

– Добрый день, – буркнул Егор. – Пошли быстрее, стоянка дорогая.

– Здравствуйте, Володя, – Инна попыталась улыбнуться, но даже сухой и вежливой улыбки не вышло.

– Соболезную.

Владимир легко шагал рядом. Вблизи он уже не казался Инне копией Андрея, но оставалось что-то неуловимое – в походке, повороте головы, робкой улыбке – что играло с ней злую шутку. Она хотела ненавидеть его – и не могла. Он украл у неё светлую память о муже.

– Я за-забронировал себе хостел на Невском. Вам нужна какая-то помощь? У меня есть немного денег...

– Нет, спасибо, Владимир, мы все уже оплатили.

В машине он долго не мог устроиться, чем ещё больше разозлил Егора, а после потерянно смотрел на поля и дома, мелькающие за окном. Инна безуспешно пыталась найти в сумке бумажные салфетки. Все молчали.

– Инна Михайловна, – наконец нарушил тишину Владимир, – я же не путаю отчество?

– Нет, – холодно ответила она.

Инну больно кольнуло осознание того, что Андрей, возможно, рассказывал о ней своей женщине и этому робкому зайке.

– Я хотел сразу объясниться. На наследство я претендовать не стану, мне оно не нужно...

– Вот спасибо, – не выдержав, фыркнул Егор.

– Егор! – Инна изобразила недовольство, но вышло фальшиво. В глубине души ей было даже приятно, что её сын поставил на место этого... Вовку. Она всегда терпеть не могла имя Володя. Вова, Вовка, Вовочка... тьфу.

– Извините, – Владимир снова уставился в окно.

«Смотри-смотри, – злорадствовал Егор. – У себя такого не увидишь». Владимир все ниже и ниже наклонялся к окну, пока не уткнулся в стекло. На повороте Егор вдруг заметил, что у Владимира запотели очки – он плакал.

Ранним утром следующего дня они поехали на кладбище договариваться насчет похорон. Остро пахло опавшей листвой, в пронзительной голубизне над соснами заливались птицы. Лелька с мужем остались дома, зато Владимир напросился с ними. Он почти все время молчал, говорил лишь тогда, когда к нему обращались. Это смирение раздражало Инну. Ей хотелось, чтобы он разозлил её, хотелось погово-

ритель гадостей, да не было повода.

В болезненном оцепенении она бродила по ритуальной конторе: трогала гробы, поправляла ленты на венках, со странным любопытством разглядывала пахнущие деревом новенькие кресты. Это все не всерьёз. Игра. Андрей не мог так поступить с ней. Он не мог уйти, оставив её один на один со всем этим...

– Мама, – Егор окликнул ее, и она отдернула руку от траурной ленты с золотыми буквами.

– Да?

– Подойди, пожалуйста.

Она поспешила к нему.

– Инна Михайловна, позвольте мне заплатить за что-нибудь. Ведь это мой отец, – Владимир появился откуда-то сбоку, она уже успела забыть о нём.

– Не стоит, – отрезал Егор.

Инна повернулась к Владимиру, чтобы подтвердить слова сына. Они не нуждаются в подачках, тем более от таких людей... Он стоял, сгорбившись, в дешёвом растянутом свитере, неаккуратно подстриженные волосы торчали в стороны, как бы он их не приглаживал. Глаза за стёклами очков подозрительно блестели. В эту минуту он был страшно похож на Андрея.

– Егор, если Володя хочет...

– Решайте сами!

Егор распахнул дверь и, как нырлящик, выпрыгнул в прозрачный осенний день. Они остались вдвоём в окружении пугающих атрибутов последнего пути.

– Он к вам часто приезжал? – тихо спросила Инна.

– Редко. Я раз пять всего его видел, – он отвёл взгляд.

– Ты даже представить не можешь, что у меня внутри сейчас, – со злостью сказала Инна.

Пахнуло свежим воздухом осеннего бора и крепким табаком, задрожали, вспыхивая золотыми буквами, ленты. В контору ввалилась размалеванная девица в темном платке.

– Ну что, определились? – почти весело спросила она.

– Ещё нет, – устало ответила Инна.

– Я помогу.

Володя шагнул к ней.

– Мама, я тебя не понимаю. Тебе больше всех нас должно быть отвратительно все это, а ты с ним сюсюкаешь, как с маленьким.

Егор мерил кухню шагами. Лёлька, чьё лицо казалось особенно бледным на фоне огненных волос, склонилась над чашкой и булькала чаем, как маленькая девочка. Инна стояла у окна, скрестив руки на груди.

– Он не виноват, Егор. Ни в чем. В том, что случилось, виноват твой отец и его мать.

– Ах вот как ты заговорила! «Егор, он нас слышит, ещё сорок дней он здесь», – передразнил он Инну.

– Я говорила о том, что своей смертью он искупил свои грехи. И Володя тут совершенно не при чем.

– Володя?! – взорвался Егор. – Может, ты ещё пожить его к нам пригласишь? Он одного года с Лёлькой, как ты не поймёшь! Он от тебя ездил к этой бабе, а от неё – к тебе!

Инна вздрогнула, как от удара. Лёлька часто задышала, и, чтобы успокоить дочь, Инна положила руку ей на плечо.

– Ну-ну, перестань. Все в порядке. Егор, – по-учительски рассудительно сказала она, – Володя причиняет мне сейчас гораздо меньше боли, чем ты. А ведь ты – мой сын.

– Отли-и-ично! – процедил Егор. – Ты уже и сравнивать начала.

– Я никого не сравниваю. Ты мой сын, и я безумно тебя люблю. И Лёльку люблю. Вы у меня замечательные. Но тебе стоит пожалеть этого мальчика – он не виноват в том, что совершили его родители.

Егор некоторое время смотрел на неё, потом шумно выдохнул и проговорил примирительно:

– Чаю налить? А то вон Лёлька со дна что-то тя-

нет...

– Спасибо, я не хочу, – Инна вышла из кухни.

Хоронили в дождь. Инна, разбитая бессонницей и переживаниями, стояла, прислонившись к плечу Егора и буравила взглядом старый металлический крест на соседней могиле. С утра болело сердце, отголоски стреляли в плечо и лопатку. После отпевания стало лучше, но ненадолго. Когда она увидела разверстую могилу, всё поплыло перед глазами, голову обожгло болью, под веками рассыпались колючие искры.

Лелька едва держалась на ногах. Паша обхватил её двумя руками, как ребёнка, который учится ходить.

На Егора было невозможно смотреть: за считанные дни он почернел и осунулся.

– Ты бы заплакал, – сказала ему накануне вечером Инна.

Он посмотрел на неё диким взглядом и вышел, хлопнув дверью.

Володя стоял вдалеке, смешавшись с толпой дальних родственников. Кажется, плакал.

На поминках он не прикоснулся к еде и ни разу ни с кем не заговорил. Инна молча ковыряла вилкой остывший резиновый блинчик. Она терпеть не могла поминки: всю эту суету, алкоголь, неискренние поминальные речи и пустую болтовню. На другом кон-

це стола сестра Андрея рассказывала о поездке на Мальдивы, пока ее муж – угрюмый и туповатый – лихо опрокидывал рюмки. Выживший из ума двоюродный дед гладил по руке свою бабуку и задушевым тоном повторял:

– Девушка, мы с вами точно где-то встречались.

Лелька цедила минералку с лимоном – её тошнило. Слева от неё Пашка жевал хлебную корку, пытаясь не заснуть – предыдущую ночь он провёл в самолете. Справа застыл Егор. Его пепельно-серое лицо выражало отчаяние.

– Егор, скажи что-нибудь, – задорно выкрикнула бабушка Фрося, седьмая вода на киселе.

Ее остренькое личико покраснелось от «беленькой», а уголки рта то и дело предательски ползли вверх – казалось, она радуется тому, что пережила Андрея.

Егор, покачиваясь, вырос над столом.

– Егор? – встревоженно прошептала Инна.

– Я нормально, мама, – чужим сиплым голосом проговорил он.

Глаза его блуждали по лицам, не фокусируясь. Вдруг он вздрогнул всем телом и стал заваливаться на бок с тонким пронзительным «и-и-и-и».

– Господи! – вскрикнула Фрося.

Егор тяжело рухнул на ковёр, чудом не задев затылком край стола. Его ноги задергались, глаза закатились.

– Вилку, вилку ему в зубы! – заверещал кто-то.

Инна оцепенела. Лёлька задышала громко и часто. К Егору через всю комнату метнулась тень:

– Н-не нужно никакой вилки. Мягкое что-нибудь давайте.

Володя притянул голову Егора к себе на колени и замер.

– Это п-пройдёт, у мамы такое часто бывало, – спокойно сказал он.

Тело Егора ещё подергивалось, но все реже, реже... Наконец, раздалось сопение.

– Он уснул. Все нормально. Помогите мне перенести его на диван.

– Мама умерла два месяца назад, – сказал Володя и отвернулся.

Они вдвоём сидели на опустевшей кухне. Инну била крупная дрожь. Гости разъехались. Егор спал в гостиной, Лёлька с мужем – в спальне.

– Извини, я не знала.

– Это ничего бы не изменило.

– Так ты остался один?

– Нет. Я живу с бабушкой. После того, как мамы...

не стало... она очень плохо себя чувствует.

– С кем же ты ее оставил?

– С племянницей. Инна Михайловна, я очень благодарен вам, что вы позвонили мне и разрешили приехать. Я ведь чувствую, что Егор и Ольга были против...

– Что ты...

– Нет, правда. Я ведь вам соврал, Инна Михайловна. Простите меня. Я вообще никогда не видел отца. Он больше не приезжал в Тагил. Ни разу. Никогда.

Наверное, ей должно было стать легче, но случилось почему-то только горше. Если Андрей действительно здесь, пока не истекли сорок дней, то пусть ответит: зачем он поступил так с ними со всеми?

– Я знаю, что он был прекрасным человеком. Вы его очень любили. И я любил. Любил то, что рассказывала о нём мама... Простите, я не должен всего этого говорить, наверное.

– Ты очень на него похож, – Инна горько улыбнулась, – но, я думаю, ты будешь лучше него.

– Вы злитесь, я вас понимаю. Я тоже злился на него. Очень долго злился. А когда позвонил Егор и сказал, что отец умер, я заплакал. Я ведь верил, что однажды он позвонит в дверь и скажет: «Здесь живет Володя Герасимов?», и я отвечу: «Да, папа, это я». Смешно, да?

Инна больше не могла сдерживаться. Она зарыдала, оплакивая Андрея, Володю и себя.

– Позвони, как долетишь, Володя, – тихо сказала Инна, пожимая его руку – сухую и сильную, как у отца.

– Обязательно, Инна Михайловна.

Егор стоял поодаль и делал вид, что изучает табло вылета, хотя на нем уже долгое время горели китайские иероглифы.

– Егор, – негромко позвал Володя.

Они посмотрели друг на друга. Егор подошёл, протянул ладонь и сказал сухо:

– Будешь в Питере – звони. Поможем.

– Нет уж, лучше вы к нам в Тагил, – и он смущенно рассмеялся. – До свидания.

– До встречи, Володя.

– Пока, – Егор снова уткнулся в табло.

Володя, сгорбившись, зашагал к стойке авиакомпании. Он был очень похож на отца.

Он повертел в руках скрипучую пластиковую упаковку. К счастью, торт не помялся, когда он резко затормозил, потому что какому-то идиоту взбрело в голову нестись через дорогу возле Горного института.

Торт был такой, как любит мама – большой, круглый, как шляпная коробка, с вензелями и кипенным кружевом взбитых сливок. Иногда ему казалось, что такие торты – жирные, сладкие – не ест уже никто, кроме них, Ковалёвых, но мама даже смотреть не желала в сторону модных тирамису и чизкейков. Хорошо хоть, что масляный крем не просит... Перед его глазами тотчас замельтешили пышные кремовые розы – он их терпеть не мог, от каждого куска такого торта его несколько часов поташнивало, как после поездки в «львовском» автобусе, зато мама с удовольствием слизывала жирный крем с серебряной фамильной ложечки. Он улыбнулся и включил сигнализацию.

Его путь лежал через тихий зелёный дворик. В старой части Васильевского таких почти не встретишь, зато здесь, ближе к Гавани, полно. Он посмотрел на новенький детский городок, на его разноцветные переходы, лесенки и горки, и невольно представил эту площадку такой, какой она была лет тридцать назад: массивные пустые вазоны, скрипучие качели

в чешуйках ржавчины да скучная серая горка в форме слона. На этом бетонном слоне ежедневно кто-нибудь разбивал нос. Однажды пришла и его очередь; он отчетливо помнил, как бежал к парадной, оставляя за собой пунктирный красный след на снегу. Было не больно, скорее, обидно, и кровь казалась похожей на клюквенный морс.

Вот и парадная. Когда, интересно, убрали скамейку? Была она в прошлый раз, когда он приезжал к родителям, или нет? Кажется, была. Вот и куст сирени ещё не успел выровняться, растёт в стороны, как будто окружая скамейку. Когда-то на ней сидели три бабушки. Он всегда с ними здоровался, а они в ответ смешно кивали разноцветными узорчатыми головами. Всех их звали Нинами, поэтому различали бабушек по отчествам – одна была Кузьминична, вторая Игнатьевна, а третья... фу ты черт, забыл. Он подумал вдруг, что этим Нинам, должно быть, тогда было немногим больше, чем его матери сейчас, но они казались гораздо старше. Из-за платков, наверное. Маму не заставишь надеть платок. Даже когда она заговаривает о смерти (терпеть не может он эти разговоры), просит, чтобы её хоронили в чепце... Да разве в платках дело? Ведь им, этим Нинам, лет по двадцать было, когда война началась... Вот и постарели рано. И ушли – рано.

Пока он рылся в борсетке в поисках ключей (и куда они все время деваются?), домофон пронзительно запищал, и дверь распахнулась, выпуская парочку – женщину с сыном на роликовых коньках.

В парадной царила прохлада и полумрак. Он взглянул на узкий лестничный пролёт и вспомнил, как к соседям с третьего этажа, Рабиновым, пианино поднимали на тросах и грузили через окно. Интересно, куда оно делось, это пианино, когда Рабиновы уехали в Хайфу? Сейчас в квартире живёт бизнесмен с молодой женой и дочерью. Им пианино явно ненужно, они любят горные лыжи и дайвинг. Неужели оно до сих пор стоит там, в квартире, запертое, как пленник? Или, может быть, его разобрали на части и вынесли на помойку? Он усмехнулся. И что за мысли лезут в голову? Вечер воспоминаний устроил...

Он по привычке заглянул в почтовый ящик. Видимо, отец вчера выгреб все газеты и рекламные проспекты – на дне ящика сиротливо лежал один-единственный конверт. «Ковалёву А.А.» – прочитал он и усмехнулся. Кто на этот раз решил написать отцу? Армейский приятель из Батайска? Тётя Надя из Зеленограда? Обратного адреса не было.

Вдруг что-то царапнуло едва заметно, как крошечная заноза. Почерк показался знакомым. Ведь он тоже Ковалёв А.А. – Александр Андреевич. Может быть, письмо адресовано ему? Ведь он тоже здесь жил когда-то... Что за ерунда! Кто в наше время станет писать бумажные письма?

Он ещё раз взглянул на конверт. До чего же знакомый почерк! И совсем не похож на аккуратные «чертежные» буквы тети Нади. Буква «К» единственная ровно стояла на строчке, остальные прыгали туда-сюда... Он вдруг вспом-

нил – и эту крупную «К», и веселые разнокалиберные буквы. Сколько неприятностей доставляли они ей в начальной школе! Вот она сидит рядом, низко склонившись к парте. Не высовывает кончик языка, когда пишет, как многие девчонки из класса, но от сосредоточенности у неё странно каменеет лицо, становится совсем неживым, как у бюста Ильича в холле первого этажа. Она пишет, старается, но все равно получается неаккуратно...

Он торопливо разорвал конверт. «Милый Шанежка!» У него вдруг защипало в носу. Так вот как это бывает! Стук из прошлого. «Шанежка» – так она его называла. Ее родители приехали в Ленинград откуда-то с Урала, и мама по воскресеньям пекла шанежки – вкусные круглые ватрушки с картошкой и творогом. «Шанежка, пошли шанежки хавать», – залиvisto смеялась она, без всякого стеснения демонстрируя щербинку между передними зубами.

Он поставил торт на почтовые ящики и развернул письмо. Оно было совсем небольшое, и буквы разбегались в стороны куда больше обычного.

Почему – сейчас?

«Милый Шанежка! – писала она. – Сейчас, когда ты читаешь это письмо, я, возможно, лечу над Атлантикой, или еду через пустыню, или лежу на диване в своём доме где-то в городке... назовём его Спрингфилд. Я не вернусь в Питер. Я так решила. Я вышла замуж за хорошего человека, и большие

никогда не стану ворошить прошлое. Мамы нет уже больше пяти лет, поэтому с городом меня ничего не связывает. Комнату на Весельной я продала какому-то милому молодому архитектору. Со мной нет ничего – ни фотографий, ни писем, ни книг. Это было моё решение. Я решила ничего не брать в новую жизнь...»

–

Привет!

Она сидела на скамейке и читала книгу. Читала! Сама! Про себя! Это было удивительно. Она подняла на него янтарные глаза – он ни у кого не видел таких глаз ни до, ни после – и со старушечьим вздохом (разумеется, он ей помешал) ответила:

– Ну, привет, коли не шутишь...

– Как тебя зовут?

– Елизавета, – она улыбнулась уголком рта. – А тебя?

– Санечка, – хотел сказать он, но накануне у него вывалился ещё один зуб, и вышло что-то вроде «Шанефка».

– Шанежка? – Лиза расхохоталась. – Это же пирожок!

– Сама ты пирожок. Шанефкой меня все называют. А так я – Алекфандр. А про что книжка?

– Про любовь, – важно сказала Лиза. – «Два капитана» называется. Хочешь, дам почитать?

– Я не умею, – ему стало стыдно.

– Это ничего. Я тоже не умела, а за лето научилась. Со

мною бабушка занималась.

– У меня тоже есть бабушка, но она с нами не фывет.

– Это здорово. Я очень люблю бабушку. При ней мама с папой никогда не ругаются, – и, словно испугавшись своей откровенности, Лиза осеклась.

Они сидели рядом и молчали. Лиза теребила в руках переплёт книги.

– А хофэф... – сказал он, – я подарю тебе кремень от фифыгалки?

Совершенно мистическим образом они попали в один класс и оказались за одной партой. Он всегда рос быстрее одноклассников, но из-за близорукости учителя сажали его за первую парту. Лиза же, наоборот, тянулась вверх медленно, словно нехотя, и её было почти не видно из-за крышки парты. Что, впрочем, не мешало ей быть круглой отличницей. Если бы не она – смелая, находчивая, за словом в карман не полезет – ему бы, наверное, пришлось несладко. В детстве за ним закрепились репутация недотепы и неудачника; мама с папой, для которых он стал поздним и долгожданным ребёнком, тряслись над ним и решали все его проблемы – таких не любят ни в детстве, ни после. Лиза изменила его. С ее подачи он научился давать сдачи, играть в футбол и прыгать с крыши одноэтажного флигеля. Неудивительно, что его родители сразу невзлюбили эту девушку...

«... Я пишу только тебе, потому что хочу сказать огромное спасибо за все то, что ты делал для меня. За то, что был рядом. Тебе казалось, что я избавляю тебя от одиночества? Это ты избавлял от одиночества меня...»

К пятнадцати годам все одноклассники разбились на пары и, не стесняясь учителей, целовались и обнимались на подоконниках. Только они с Лизой оставались одиночками: всюду ходили вместе, бегали на залив, ездили за город, но он не решался даже взять её за руку.

Однажды Лиза пришла на встречу расстроенная, но рассказывать ни о чем не захотела. Это была её характерная черта: она всегда молчала до последнего, сверкая глазами.

Он чувствовал, что ей плохо, но поделать ничего не мог. Не найдя ничего лучше, он повёл её в арку-провал – их секретное местечко на Тринадцатой линии. Они зашли в подворотню, сделали несколько шагов, и вдруг над их головами открылось стылое октябрьское небо.

– Ты ведь меня не оставишь? – вдруг спросила Лиза. Нижняя губа у неё подрагивала, но глаза оставались сухими.

– Никогда, – пообещал он.

Соврал, разумеется...

«... Ты – лучшее, что случилось со мной в жизни. Из всего того, что было, я хочу оставить только тебя. Я не знаю, что будет завтра, послезавтра, через месяц. Просто хочу, чтобы ты был со мной. Хотя бы так...»

На праздник, посвящённый его шестнадцатилетию, Лиза не пришла – сказалась больной. За столом сидели школьные приятели, которых он обрёл благодаря ей. Они принесли пиво и укладкой потягивали его на застекленном балконе. Ему было неуютно. Хотелось стукнуть кулаком по столу и уйти в метельную темень.

В половине одиннадцатого, когда приятели разошлись, а родители вернулись из театра, раздался телефонный звонок. Трубку взял отец.

– Тебя, – недовольно буркнул он, и стало понятно, что звонит Лиза.

Он не узнал её голос – влажный, хриплый, далекий.

– Шанежка, с Днём Рождения. Через полчаса в арке-провале. Жду.

– Она с ума сошла! Проститутка! – увидев, что он шнурует ботинки, мама взорвалась. – Андрей, скажи ему! Куда он пойдёт? Ночь на дворе! Гопота вся вышла! Холодина! Метель! Да и что это за штучки? Она свистнет, и ты побежишь?!

– Мама, она мой единственный друг, – тихо, но твёрдо сказал он. – Что-то случилось, иначе она бы никогда...

– Друг? А кого ты сегодня приглашал тогда? Мама выглядела уже не злой, а растерянной.

– Ольга, он взрослый мужчина. Подумай о ней – стала бы она выходить в ночи одна. Может, действительно что-то случилось. Ты же сама говорила, у них там вроде не все в порядке, у её родителей...

Навстречу ему из арки-провала метнулась крошечная дрожащая тень.

– Шанежка, прости меня, я не хотела в твой день рождения... но... Шанежка, папа ушёл. Представляешь? Собрал чемодан – и ушёл. Мама полбутылки уже выпила... Шанежка... – и она разрыдалась.

Он неловко обнял её (да что там, схватил поперёк тела и прижал к себе).

– Лиза, Лиза, что ты, перестань...

Он вдруг увидел, что куртка у неё надета прямо на футболку, а на ногах – легкие кроссовки.

– Пойдём к нам, Лиза. Пойдём.

– Твои родители меня не любят, – мгновенно каменея, ответила она.

– Это неважно, – твёрдо сказал он и вдруг прибавил, – зато я люблю.

«... Я не претендую на то, чтобы быть с тобой. У тебя семья, дети. Я была одна и буду одна всегда, даже сейчас. Мне просто важно знать, что где-то на другом конце земли есть ты, Шанежка. Милый мой человек...»

С той ночи, когда мама, недовольно поджав губы, постелила ему на полу, а Лизе – на софе, многое переменилось. Они по-прежнему не держались за руки, но Лиза стала с ним какой-то близкой и мягкой, совсем не такой, как раньше. Он и раньше подозревал, что на самом деле она другая. Эти перемены неожиданно испугали и расстроили его.

Лиза, его волевой и храбрый товарищ, стала обидчивой и слезливой, несла всякие сентиментальные глупости, требовала поцелуев и внимания... Аккуратно целуя её в растрескавшиеся губы, он ощущал только робость и волнение – почти неприятное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.